



СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД

голосистая подпирает. Солист что-то возразил, но как-то неуверенно и непамятно, и это тоже обидело. Ему бы, как в роли, сорвать с руки белую перчатку и швырнуть обидчику в ноги, но и роли не сыграл, да и ударения не расставил. Да, была депутатом, и не один созыв, была, как все: свое отсиживала, за нужное голосовала, от избирателей не бегала, чужие беды разгребала и тогда, когда одолевала свои. Может, в том и беда, что «как все»? Но разве вписывалось в то время не быть как все? Она не манкировала званием, данным, как верилось, народом, и когда однажды на руках были вызов на сессию и приглашение в «Метрополитен-опера» с незаполненной строкой гонорара, она, не колеблясь, сделала выбор: в Москву, только в Москву, там будет решаться судьба годового госбюджета. Как же без нее? Нет, она честно выполняла свой долг.

Колокольчики всегда звучали в ее душе с той поры, как услышала переговоры ласточек и попыталась их повторить. Они и сейчас звучат в ней, когда на записях она повторяет по дюжине дублей, повторяет сама и даже тогда, когда доволен дирижер. Лучший судья, знает она, ты сама. В жизни она ни у кого и никогда не просила похвал. И не ждала их от других.

Журналист сидел к экрану спиной, и эта неуважительная спина, виделось ей, сотрясалась от хихиканья. Почему, думалось ей, почему так злы люди?

Неужто потому, что на первый план вышла гласность и не стало запретных тем? На этот день газеты пообещали магнитную бурю, так что вполне официально болела голова и не помогали таблетки. Пятна на солнце случались и до эпохи гласности, но нынче мигрени име-

ли документальное подтверждение. Таблетки не помогали, и даже голос, как показалось, стал садиться. От спектакля она не отказалась. Такое в ее правила никогда не входило. Пусть в зале триста, даже двести, но и для этих двухсот нынешний день — праздник, и ее шум в висках такому празднику не в помеху. В этот раз он был и ее потаенным праздником, и на то были веские причины...

Исполнялось, улыбнется она, тридцать лет. Тридцать лет сцены. Тридцать лет, как она впервые пришла на сцену через служебный вход. Тридцать лет праздника, что всегда был с ней и инерцией не стал. Когда придет инерция, знала она, придет конец искусству — и поистине отзвучат колокольчики.

И этот праздник, что помнила лишь она, был для нее потаенным, своим, и она пригласила на спектакль своих, о которых никогда не забывала, — волонтировских. В зале сидела мама и еще два председателя — колхоза и сельсовета. Ее председатели из Волонтировки — села, в котором она запела.

Мама была ее наипервым, задолго до афиш, зрителем и ценителем. Девчонкой она собрала с соседних дворов ровесниц, нарядила в одежды из сундука и устроила сцену на сеничке в сарае. Сенник в конце концов обрушился, и мама, аплодируя не по тому месту, говорила ей:

— Не делай, что не умеешь... помни: лучше быть первым на селе, чем последним в городе... Не твое — не берись...

Урок в минуту, что длился по сути дела всю жизнь...

Мама слышала, что дочка поет, слышала сердцем и душой, но опять же сердцем и душой слышала и страшилась, что дочка решится от-

плыть от этого, своего, берега, а к другому так и не пристанет а река по имени жизнь закружит-закружит и...

Служебный вход ей дался нелегко, и «здравствуйте» у входа всегда было здравствованием и театру...

Мама никак не желала сест в литерном ряду и сыскала место в сторонке, на боковушке партера, страхась выделиться среди городских. И все равно выделялась — и благоговением перед искусством, что было для нее гласом с неба, и белым, на праздник, платочком, узелочек под подбородком, на голове. Мария Лукьяновна боковым зрением выделяла в зале это белое пятнышко, и ей становилось от него спокойнее. Ей даже подумалось, что все тридцать лет она боковым зрением выискивала это пятнышко и на него, как на экзамен, равнялась и равнялась...

...На вахте служебного входа я предъявил служебное соборовское удостоверение, с необъявленного разрешения администрации спустился в подсценные лабиринты и там стал никем.

— Что, мужик, — скажет статист в рубище, — с деньгами туго? Так тут не раскошеляются...

У инкогнито есть свои недостатки и преимущества...

В числе таких же безголовых, как я, был и обряжен, измазан морилкой и кинут на колени перед троном покорителя. По замыслу режиссера, я стоял в центре побежденных и вращал белками глаз, изображая непокоренность.

И все было бы хорошо, если бы Амонасро не промчался бы стремительно к Аиде и локтем не зацепил бы мой разнестачный, буйволиного волоса парик. Тот снялся с заколок и опасно навис над бровями, и, кажется, только ими я и удерживал тот парик-скальп от падения на сцену. Потом мне сказали, что я выглядел весьма дико и даже эффектно. «Во-оже, — просил я, — спаси от позора, а спектакль от срыва...»

— Го-осподи, — трагическим шепотом, перейдя с итальянского на русский, произнесла Аида. — А вы-то что здесь делаете?

В либретто «Аиды» этих слов нет, и Биешу произнесла их мне, плененному эфиопу, соплеменнику Аиды, и я, пожелавший увидеть театр изнутри и, правда, пленник искусства, статист «на раз», отвечал-шелестел, стараясь быть предельно кратким и правдивым:

— Вхожу в материал...

Но в какой, в тот миг я еще не знал...

— Го-осподи, — еще раз протянет Биешу и, коротко заслонив меня от зала, встанет на колени и поправит мой парик. И мир сразу станет уютнее и понятнее. Как мало, подумаю я, нужно тебе: чтобы ничто над тобой не нависало. Пусть даже собственный парик.

Тридцать лет сцены, а она от нее не устала и еще видит руки дирижера, творящего свет музыки. Дома у нее хранится снимок: Мария Лукьяновна стоит перед «Бурлаками» Репина, стоит ошалело, и не было в том игры на фотокорреспондента, ловившего миг. Там она остро ощутила, что и ее работа сродни работе тех бурлаков. Тот, кто от нее устает, из лямки выпадает. Вперед, и только вперед...

Еще так много тех, кто хочет войти на сцену без этой лямки, войти, играя голосом и полу-

способностями. Не так давно на собрании вполне серьезно обсуждался вопрос, не перевести ли весь репертуар на молдавский, и от этого, дескать, местный зритель так и повалит на спектакли. «Верде» значит «зеленый»...

— А как быть мне? — вставит фразу и Биешу. — И мне переводить с итальянского? Когда на улице ветрено, то сквозит и в храме...

Истинное искусство, вечно помнит она и на это молится, если это искусство истинное на самом деле, интернационально. Важен язык, важна и форма, но еще важнее достоинство искусства, без которого сцену ради формы и проформы может заполнить посредственность. И с таким, пока звучит колокольчик, она желает сражаться...

...И вдруг она увидит, что мамы на краю партера нет. Она сидела уже в центре зала, и платок ее светился солнышком в кромешной темноте. Сидела, уложив натруженные руки на колени, и радуга соединяла это солнышко со сценой. Видимо, уговорила сестра...

Она пела и пела, пела залу, пела маме, пела гостям, забыв про катаклизмы на солнце и тревоги, одолевавшие перед спектаклем, — работа.

Мария Лукьяновна выйдет на поклон, ее привычно задарят цветами. Цветов — охапка, и тут еще бросят букет, что упадет на край ramпы. Она пойдет к нему, и вдруг занавес отсечет ее от сцены и артистов. Такого раньше не было, и она про себя встревожится: что так? Пусть так, пусть будет так, но зритель ничего не должен замечать — ни магнитных бурь, ни ее тревог, ни таких вот технических срывов. На сцене не во всем нужна гласность...

Через какие-то секунды занавес поднимется вновь, и она с удивлением увидит, что на сцене полукругом выстроится почти вся труппа. И еще стояло ее любимое, всегдашнее кресло из ее гримерной, и тут, среди цветов и улыбок, кресло выглядело троном.

— Мария Лукьяновна, — просто скажет директор. — Мария Лукьяновна, садитесь и слушайте...

Труппа отмечала ее тридцатилетие, тридцатилетие служебного входа. Она сидела в кресле-троне и боялась заговорить. Милые, звучало в ней, как вы догадались, что мне недостает вашей доброты? Может, это звучали колокольчики, те самые, что звучали вчера, позавчера и десять тысяч вечеров назад. Неужели всего десять тысяч вечеров? Ее награждали, отмечали не раз, но тут — неожиданно, и радуга наполнила зал. Неожиданный праздник, кажется, кончался, цветы в корзине поднесли к ногам и мамы, та плакала, вытирая глаза кончиком платочка. И тут на сцену вышла очень праздничная женщина, возможно, и ровесница, вручила ей еще один букет и сказала основательным голосом:

— Товарищи, разрешите одесситке признаться в любви к Марии, в любви давней, неистребимой. Она не остывает с годами, и когда Мария поет по радио или с экрана, я говорю домашним: «Сгиньте, это мой миг, и пусть на кухне горят даже пироги». Я не человек искусства, я всего-навсего доцент, и у меня есть любовь, и я этим счастлива...

Мария Лукьяновна плакала, не заботясь о гриме. В мире, скажет она позже, должна владеть добротой.

...Мне цветов не дарили. Я сдавал в гримерной для статистов реквизит, смывал раскраску эфиопа и тоже был счастлив. Ко мне пришла тема...

В. ЛЕТОВ.
 (Наш соб. корр.)

КИШИНЕВ.

Фото ТАСС.